

РЕНЕ ШАР

СВАДЕБНЫЙ ЛИК (с комментарием Поля Вена)

ОТ ПЕРЕВОДЧИКА

Плато Люберон — одно из живописнейших мест на юге Франции (департамент Воклюз), расположенное неподалеку от легендарной горы Ванту, на которую когда-то совершил восхождение поэт Петрарка. Эти места находятся неподалеку от родного города Рене Шара — Л'Иль-сюр-Сорг. Почти вся жизнь поэта связана с этим уголком Прованса. В детстве он жил в великолепном имении Невон, построенном его отцом, который владел процветающими гипсо-формовочными мастерскими. Потом заканчивал гимназию в Авиньоне, учился и вёл буйную и праздную жизнь в Марселе. Затем, после сюрреалистического парижского периода, снова вернулся в Воклюз во время оккупации и встал во главе одного из подразделений партизан-маки в деревушке Серест. После войны тоже жил в основном в Провансе, где и был похоронен в 1988 году.

Лето 1938 года он провёл в обществе шведской художницы Греты Кнутсон-Тцара (1899–1983). Для Шара это был период выздоровления — до этого он перенёс тяжёлую и длительную болезнь, едва не умерев от заражения крови. Грета в ту пору только что рассталась со своим мужем, поэтом Тристаном Тцара (официальный развод был подписан в 1942 году). Она была красавицей, принадлежала к богатому космополитическому кругу парижской богемы, и, как многие «женщины сюрреалистов», отличалась широкими культурными интересами и внутренней свободой. Как и Шар, она довольно рано перестала разделять установки сюрреализма. Помимо живописи она занималась литературой и художественной критикой, писала стихи, углублённо изучала философию (особенно феноменологию Гуссерля). Это она познакомила Рене Шара с творчеством немецких романтиков, Гёльдерлина и с философией Мартина Хайдеггера. Именно она стала героиней «Свадебного лика» и других стихотворений Шара, написанных в этот период.

Друг Шара, эллинист Ив Батистини, написал однажды, что мечтал бы увидеть «интерактивное издание» «Свадебного лика» (окончательное преодоление Гутенберга) со множеством линков и комментариев, со ссылками на рисунки Греты Кнутсон, на разные издания стихотворения, начиная

с брошюры 1938 года и кончая более поздними иллюстрация Ива Танги и Андре Масона. И туда можно было бы добавить комментарий по содержанию, проведя параллели, как Жорж Дюмезиль, с образами тантрического соединения двоих или с алхимическим браком (Аксель и Сара де Мопра у Виллье де Л'Иль Адана), а также с творчеством Данте, Блейка, Пьера Луиса, с античным романом-идиллией, с «Кантатой на три голоса» Клоделя и так далее и так далее... Можно вспомнить и о музыке — кантате Пьера Булеза «Свадебный лик» (1946)... Теперь к этой перекличке комментариев можно добавить и историю общения Рене Шара с русским писателем Алексеем Ремизовым. Что касается комментария, то мы ограничимся отрывком из книги Поля Вена «Рене Шар в собственной поэзии», в которой историк литературы взялся истолковать все стихи Рене Шара, которые, с его точки зрения, в этом нуждаются.

Арина Кузнецова



RENÉ CHAR

LE VISAGE NUPTIAL

À présent disparaïs, mon escorte, debout dans la distance;
La douceur du nombre vient de se détruire.
Congé à vous, mes alliés, mes violents, mes indices.
Tout vous entraîne, tristesse obséquieuse.
J'aime.

L'eau est lourde à un jour de la source.
La parcelle vermeille franchit ses lentes branches à ton front,
dimension rassurée.

Et moi semblable à toi,
Avec la paille en fleur au bord du ciel criant ton nom,
J'abats les vestiges,
Atteint, sain de clarté.

Ceinture de vapeur, multitude assouplie, diviseurs de la crainte,
touchez ma renaissance.
Parois de ma durée, je renonce à l'assistance de ma largeur vénielle,
Je boise l'expédient du gîte, j'entrave la primeur des survies.
Embrassé de solitude foraine.
J'évoque la nage sur l'ombre de sa Présence.

Le corps désert, hostile à son mélange, hier, était revenu
parlant noir.

Déclin, ne te ravise pas, tombe ta massue de transes, aigre sommeil;
Le décolleté diminue les ossements de ton exil, de ton escrime ;
Tu rends fraîche la servitude qui se dévore le dos;
Risée de la nuit, arrête ce charroi lugubre
De voix vitreuses, de départs lapidés.

Tôt soustrait au flux des lésions inventives
(La pioche de l'aigle lance haut le sang évasé)
Sur un destin présent j'ai mené mes franchises
Vers l'azur multivalve, la granitique dissidence.

Ô voûte d'effusion sur la couronne de son ventre,
Murmure de dot noire!
Ô mouvement tari de sa diction!
Nativité, guidez les insoumis, qu'ils découvrent leur base,
L'amande croyable au lendemain neuf.

РЕНЕ ШАР

СВАДЕБНЫЙ ЛИК

А сейчас исчезай, мой эскорт, держись в отдаленье;
 На глазах распалась тяга к блаженной близости множеств.
 Прочь, товарищи буйные, братья, вожди.
 Всех уносит потоком прощальным.
 Я отныне — люблю.

День пути до истока, тяжёлы и медленны струи.
 Злато-алой каймою сияет твой лоб из-за медленных веток-лучей —
 воплощенье зари!

Уподоблен тебе,
 Весь в пыли и соломе огня на окраине неба крича твоё имя,
 Рушу крепость минувшего,
 Светом пронзённый, живой.

Тает пояс тумана, растворяются дымом ошибки и страхи,
 посмотрите, я снова рождён!
 О броня моя, больше не будет надежд и сует бесконечных,
 Строю я призрачный дом, всходам расти не даю,
 Загоревшись, сгорая, стою один среди торжищ,
 И не забуду, как плыл над тенью её Бытия.

Опустошённое тело, враждебное всяким смешеньям,
 вышло вчера из тёмного бреда.
 Бессилье, в забвение кань! горечь сна, под дубиной кошмара пади!
 Обнажённые плечи прячут каркас твоего поединка.
 Ты возвращаешься в рабство, ты подставляешь шею.
 Пусть ночи усмешка прервёт этот мрачный кортеж
 Упрёков стеклянных, прощаний горьких.

Вынырнув из лабиринта страданий
 (О кирка золотого орла! И фонтаном вздымается кровь...)
 Ради этого мига судьбы я стремился к свободе
 К многостворчатой сини, к гранитной моей прямоте.

О свод излиятий над царским венцом её лона,
 Шёпот тёмного дара!
 О движенье иссякшее губ!
 Рождество, веди непокорных, пусть видят мира основу,
 Новь миндальная — ясного утра залог.

Le soir a fermé sa plaie de corsaire où voyageaient les fusées vagues parmi
la peur soutenue des chiens.

Au passé les micas du deuil sur ton visage.

Vitre inextinguible: mon souffle affleurait déjà l'amitié de ta blessure,
Armait ta royauté inapparente.

Et des lèvres du brouillard descendit notre plaisir au seuil de dune,
au toit d'acier.

La conscience augmentait l'appareil frémissant de ta permanence;
La simplicité fidèle s'étendit partout.

Timbre de la devise matinale, morte saison de l'étoile précoce,
Je cours au terme de mon cintre, colisée fossoyé.

Assez baisé le crin nubile des céréales:
La cardeuse, l'opiniâtre, nos confins la soumettent.
Assez maudit le havre des simulacres nuptiaux:
Je touche le fond d'un retour compact.

Ruisseaux, neume des morts anfractueux,
Vous qui suivez le ciel aride,
Mêlez votre acheminement aux orages de qui sut guérir de la désertion,
Donnant contre vos études salubres.
Au sein du toit le pain suffoque à porter coeur et lueur.
Prends, ma Pensée, la fleur de ma main pénétrable,

Sens s'éveiller l'obscur plantation.

Je ne verrai pas tes flancs, ces essaims de faim, se dessécher,
s'emplier de ronces;
Je ne verrai pas l'empuse te succéder dans ta serre;
Je ne verrai pas l'approche des baladins inquiéter le jour renaissant;

Je ne verrai pas la race de notre liberté servilement se suffire.

Chimères, nous sommes montés au plateau.
Le silex frissonnait sous les sarments de l'espace;
La parole, lasse de défoncer, buvait au débarcadère angélique.
Nulle farouche survivance:
L'horizon des routes jusqu'à l'afflux de rosée,
L'intime dénouement de l'irréparable.

Voici le sable mort, voici le corps sauvé:
La Femme respire, l'Homme se tient debout.

Вечер скрыл свою рану разбойную — там блуждали ракеты,
выли от страха собаки...

В прошлом на лице твоём траурной скорби слюда.

О пожар негасимый окна: я касался дыханьем дружеской раны,
Охранял твоё тайное царство
И как тихо тумана уста нашу страсть опустили к подножию дюн
и на острую крышу...

Я узнал, я постиг вечный трепет в твоём постоянстве
И доверчивой ясностью дольний наполнился мир.

Утрени звонкий призыв, кончено Вespera время.
Я, колизей среди рва, аркой замкнувший свой бег.
Хватит ласкать зрелую гриву колосьев:
Пряха упрямая пусть в стороне посидит.
Хватит проклятий в гавани брачных подобию:
Я опускаюсь на дно возвращенья к себе.

О вы, ручейки, невмы навеки уснувших!
Вы скользите, спеша догнать бесплодное небо,
Да совьётся ваш путь с грозой того, кто внутри одолел пустыню,
Отдавшись во власть живительным вокализам.
Под крышей вздымается хлеб, стремясь разделить своё сердце и пламя:
А ты, Незабудка, цветок из ладони прозрачной прими.

Тёмный сад всколыхнувшихся чувств пробудился.

Я не увижу, как свежие эти холмы, роенье желаний,
сухой зарастут ежевикой,
Я не увижу на месте твоём эмпузу в стеклянном гробу,
Я не увижу кривлянья паяцев на фоне бессмертного утра,

Я не увижу конца нашей горней свободы, — рабьего плена в себе.

Вот мы взошли на плато, химеры сознания,
Кремний плывёт и дрожит и лозы пространства под ним.
Слово стихло и влагу впивает у ангельского парома...
Кончены битвы земные.
Тают дороги далёкие в мощном приливе росы.
Вот наша развязка — неотвратимое, где твоё жало?

Замер навеки песок и восстановлено тело:
Женщина дышит всей грудью, мужчина стоит во весь рост.

КОММЕНТАРИЙ ПОЛЯ ВЕНА¹

Когда это большое стихотворение было впервые напечатано для широкой публики в 1944 году, в журнале *Kaïe d'ar*, оно произвело настоящую сенсацию среди любителей поэзии, во всяком случае, именно так отозвался о нём Жорж Мунэн.

Стихи относятся к циклу, посвящённому Грете Кнутсон и плато Люберон.

«Летом 1938 года я был страстно влюблён», — признавался Рене Шар. «Свадебный лик» — памятник этой страсти, восторженное славословие Женщине и весть о духовном воскресении самого поэта. Это отнюдь не эпиталама; нужно оговориться сразу: «свадебный» не имеет никакого отношения к матримониальной процедуре. Это слово, без всякого сомнения, определяет единственно возможный истинный брак — с воплощённой Красотой.

«Свадебный лик» — стихи о том, как плотская страсть заставляет на время забыть писательский долг, порвать с прошлым и ощутить рождение в себе новой творческой энергии.

Перед нами появляется главное действующее лицо — сам поэт. Я буду своими словами пересказывать самые неровные и невнятные строфы (в том случае, если пойму их сам), и цитировать те, которые мне кажутся прекрасными:

А сейчас исчезай, мой эскорт, держись в отдаленье;
 На глазах распалась тяга к блаженной близости множеств.
 Прочь, товарищи буйные, братья, вожди.
 Всех уносит потоком прощальным.
 Я отныне — люблю.

Этот «эскорт» состоит не просто из «ближних» (которым посвящены стихи «Сказать ближним»), это ещё и тысячи внутренних голосов, которые могут призывать к творчеству, подсматривать за реальностью и яростно требовать, чтобы поэт писал; поэт очень любил эту деятельную внутреннюю «множественность», с которой он теперь на время расстаётся. Но все-таки эти «ближние» «держатся в отдаленье», а значит, могут вернуться. Ныне поэт стремится к простым чувствам, гонит прочь терзания; он даже, как кажется ему теперь, забыл о своей боли, которая позволяла ему быть снисходительным к самому себе. Потому что сейчас он влюбился. А «когда мы чувственно удовлетворены, — говорил Шар (он использовал более энергичные выражения), — нам откровенно наплевать на поэзию».

Ценности поменялись, длительность стала важнее нового мгновения:

День пути до истока, тяжёлы и медленны струи.

¹ *Veune P. René Char en sa poésie. Paris: Gallimard, 1990. P. 172–181.*

Женское тело научило поэта тому, что сила тяготения есть благо. И заря утратила свой грозный размах: солнце (алеющий краешек которого появляется на горизонте вслед за первыми лучами и потом вдруг восходит и начинает сиять), это самое солнце теперь сияет не в небе, а на челе его возлюбленной, которая носит имя Авроры. И бывший поэт принимает условия игры: он сам при виде золотых лучей зари на горизонте торопится разрушить всё своё прошлое, которое не было связано с его настоящей страстью. Он больше не человек в тени звёзд над рекой Сорг: он поражён здоровой болезнью ясности.

Любовнику кажется, что он рождается заново, выплывает из тумана своих сомнений, жёстких внутренних конфликтов, оставляет «внизу» многочисленные страхи. Он отказывается от всех «союзов» и собирается в будущем хранить свободу, по крайней мере, на ближайшие годы. Он собирается жить настоящим днём, во временных жилищах (хижинах); он не даст всходам прорасти раньше времени — урожай отодвинут на потом. И поскольку свет, которым он «сражён» — общий для всех, он больше не отличает себя на всеобщих «торжищах». Значит, поэт больше не одинок? Нет, одиночество остаётся, но оно обрело иной характер:

Я не забуду, как плыл над тенью её Бытия.

Прекрасный образ пловца, различающего под собой, в глубине вод, огромную тень, исполнен смысла. Раньше Шар противопоставлял свою деятельную Любовь эстетизму, который ограничивался обожанием тела богини в этом низменном мире, теперь же он плавает в человеческом море и больше ничего не пишет: он хочет верить, что в часы эстетического одиночества будет скользить над тенью Красоты.

Почему он решил всё покинуть? Потому что устал от мук творческого сомнения, терзавших его в предыдущие ночи. Он принимает свой внутренний упадок (далее идут две строки, в которых должен быть смысл, но они так занозисты, что я отступаюсь от толкования); поражения его утомили:

Пусть ночи усмешка прервёт этот мрачный кортеж
Упрёков стеклянных, прощаний горьких.

Уродство сортировочных станций, где эхом звучат упреки цвета грязных бутылок (и считается, что в них есть поэзия!) и где трезвые голоса «ближних» превращаются в конвой, стоит лишь допустить минуту колебания. Всякое художественное произведение похоже на вокзал, каждое стихотворение — поезд; вспоминая о блужданиях и заблуждениях своей юности, Шар подвёл итог: «Я только и делал, что скитался по вокзалам».

Но вот манера письма начинает меняться:

Вынырнув из лабиринта страданий
(О кирка золотого орла! И фонтаном взметается кровь...)

Ради этого мига судьбы я стремился к свободе
 К многостворчатой сини, к гранитной моей прямоте.
 О свод излиятий над царским венцом её лона,
 Шёпот тёмного дара!
 О движение иссякшее губ!
 Рождество, веди непокорных, пусть видят мира основу,
 Новь миндальная — ясного утра залог.
 Вечер скрыл свою рану разбойную — там блуждали ракеты,
 выли от страха собаки...
 В прошлом на лице твоём траурной скорби слюда.

Для человека, любящего ботанику, чашечка цветка, раскрывающаяся всеми своими лепестками-створками и являющая плод — это красиво; голубой грот, дающий влюблённым укромное убежище, щедро раскрывается для их наслаждений; там царствует лоно; в других стихах Шар упоминает «пушок короны». Что касается «движения губ», которое «иссякает», то этот оборот не кажется очень выразительным, хотя, вероятно, он был таковым для Рене, который *на своём собственном языке* выражал тщательно выношенные мысли. (Здесь возникает проблема: может ли быть прекрасен язык, на котором говорит лишь один носитель? Думаю, да, — ведь любой язык возможно изучить).

Стоит объяснить ещё один момент. Данное выражение не значит, что возлюбленная замолкает. «Движением» мы зовём перемещение в пространстве; живые существа не являются неподвижными звёздами: некоторые пребывают в движении; планеты не остаются на одном месте и человек, подобно им, не может не передвигаться. Даже его Любовь не пребывает в состоянии покоя на своих высотах: она подвержена и взлетам и падениям; и в неподвижном одиночестве мы находимся под воздействием вечного перемещения. Беседуя, мы постоянно переходим от одного предмета к другому, редко сосредотачиваясь на чём-то одном. Моменты наибольшей плотности² бытия

² Когда я писал этот текст, мне пришла в голову мысль об «иссякнувшем движении», которое постепенно возвращается к сущностному языку (шёпоту). Есть одна живописная иллюстрация этого момента — у художника Грёза. Картина «Разбитый кувшин» кажется мне вершиной эротизма. Справа от женщины, только что открывшей для себя наслаждение, виден маскарон фонтана, лицо одновременно и человека и звериное, пугающее и знакомое, бесформенное и обольстительное; из его пасти льётся лишь тоненькая струйка, идея воды, иллюзия, непрестанно исходящая из мрака; её присутствие почти незаметно, но беспощадно; она всегда будет здесь, как неподвижная и безмолвная улыбка. Кроме этого, бесспорно, что слова «иссякающая речь» и «иссякшее движение речи» не самоповторения: точность и лаконизм Шара не позволяют в этом сомневаться. Я часто слышал, как Рене сетовал на «вечность движения» нашей человеческой природы. Книги «неподвижны», во всяком случае, великие. Это значит не то, что они объективируют мысль, но то, что написанное

наступают тогда, когда наша мысль больше не может рассеиваться, когда речь замирает в буйстве наслаждения и иссыкает. Тогда возлюбленная может только шептать слова любви.

Не является ли эта горная идиллия мимолётной прихотью? Нет, и об этом говорится в дальнейших строфах. Возлюбленная много страдала, и она испытывает дружескую приязнь к этому мужчине, от которого ждёт поддержки. Оба влюблённых теперь стоят лицом к лицу, и мужчина наделяет эту доверившуюся ему женщину королевскими достоинствами.

Оконные стекла сверкают, пока в них отражаются лучи заката, но то окно, в котором возлюбленная появляется перед своим любовником, блещет неугасимым огнём. Рене Шар делает открытие: эротический трепет по своей природе связан не только с эфемерным; ясное сознание может уловить его «вечное возвращение», и, осознав это, продлить его существование; идиллия не только цветной туман, ясность сознания может сопутствовать непреходящему экстазу. Так и случилось: «я» поэта растворилось в летучей свободе

И доверчивой ясностью дольний наполнился мир.

Теперь поэт охвачен чувством слияния с миром, чувством освобождения. Отныне он позволяет и даже предписывает себе жить согласно законам нового утра и проститься на время с вечерней звездой, которая была для него символом триумфа творческой ночи. Он чувствует, что какой-то этап для него позади:

Я, колизей среди рва, аркой замкнувший свой бег.

Гюго тоже изображал себя гигантом, но при этом он не окружался рвами, словно замок, где живёт какой-нибудь безумный император. Шар, который, кажется, не бывал в Риме, представил арочный свод над Колизеем. Сейчас он достиг своего внутреннего центра, замкового камня, неизбежное призвание войдёт в него, но обходными путями, и замкнётся резервуаром будущего. Больше он не будет терять время на сочинения, подобные соломе, которые, несмотря на свою зрелость, так и не вошли в пору брачного урожая (не значит ли это, что он покидает пашню? нет, скорее, это предчувствие, что однажды ему предстоит собрать истинный урожай); он проклинает свой прежний ошибочный брак (не надеется ли вскоре благословить истинный?). Но не собирается больше думать о тиранической богине, которая пыталась его на медленном огне.

Она удалена на окраину его сознания, там всё когда-нибудь наладится, а сам он больше об этом не думает. Всё, что он чувствует сейчас — это ощущения ныряльщика, который должен всплыть на поверхность:

Я опускаюсь на дно возвращения к себе.

обладает *истинным смыслом*, который не меняется для читателя на протяжении веков (*Прим. автора*).

И он медлит какое-то время среди этих плотных энергий:

О вы, ручейки, невмы³ навеки уснувших,
 Вы вьётесь, спеша догнать бесплодное небо
 Да сольётся ваш путь с грозой того, кто внутри одолел пустыню,
 Сдавшись во власть живительным вокализмам.
 Под крышею хлеб задохнётся, желая отдать своё сердце и пламя:
 А ты, Незабудка, цветок из ладони прозрачной прими.
 Тёмный сад всколыхнувшихся чувств пробудился.

В начале стихотворения любовник был человеком с «опустошённым телом» — лишённый телесной и внутренней жизни, замкнувшись в аскезе, он жил от кризиса к кризису. Но теперь он открыл всю мощь земли, длительность живых токов, которые являются подвижными отражениями бескрайнего неба. Он сохраняет бурный темперамент, но больше не противится свободному движению Жизни, и он заключает её в своё тело, которое ещё вчера было «враждебно любому соединению». Шум ручья — это голос длительности, которая тянется в себе самой; но также это и гимн всем тем, кто прожил свою жизнь до конца. И вот эти самые силы, текущие чтобы течь, вызывают в поэте родственное желание изливать, расточать себя; замкнутый в себе самом, он задыхается; ему нужно отдать, подарить себя, излучая свет. И он с удивлением обнаруживает, что Жизнь, которая казалась ему чем-то внешним, родственна его возлюбленной, которую он называет «моя Незабудка» (= незабвенная мысль; здесь это прозвище, *сеньяль*, как у трубадуров, которое они давали своей даме сердца); и эта богиня может увидеть, как по мановению прозрачной руки поэта вырастает «тёмный сад», о существовании которого он и не подозревал. Любовь и творчество происходят из одного живительного корня.

Сама жизнь говорит устами этого мужчины: теперь он, собственной персоной, пророчествует о будущем возлюбленной. Суверенная и довольно тяжеловесная строфа отчеканила четыре заповеди, которые я переведу на простой язык: ты не должна погрязнуть в убогом и самодостаточном существовании, как в колючих зарослях; не должна подменить свежесть и фантазию прихотями и капризами женщины-ребёнка; не должна превратиться в эмпузу.

³ Невма (музык.) — знак, намёк. Невмы в качестве знаков для записи мелодии состояли из крючков, точек, завитков и заменили собой греческую буквенную систему. Невмы служили лишь средством напоминать певцу уже известную ему мелодию. Исполнявшиеся на один слог или на одну гласную букву, одним дыханием, мелодические фигуры в григорианском церковном пении конца VI и начала VII в. назывались пневмами (пневма — дыхание); отсюда и название, применённое к знакам, означавшим пневму, а затем и ко всей звуковой записи, принятой Григорием Великим (Словарь Брокгауза и Ефрона) (*Прим. переводчика*).

между людьми и миром становится прямым и непосредственным, кажется, что зло больше не существует, и человек готов поверить в эдем; а ведь именно там он снова обретает власть над временем. Конечно, это чистое воображение, но для поэта «отказываться от капли воображения, которой не хватает небытию, значит терпеливо возвращать вечности то зло, которое она творит с нами». Шар всегда оставляет для своих читателей возможность пережить катарсис: он любит преобразать и дарить радость, именно в том смысле, в каком это делалось в классическую эпоху, в XVII веке, когда слово «развязка» означало «преодоление трудностей», а определение «непоправимый» использовали говоря о времени: *irreparabile tempus* (лат.). Устранение непоправимого может произойти только на личностном, интимном уровне: пойдём на смелый обман и вообразим, что никакие заботы о дальнем больше не омрачат будущее и все пути приведут к тому чудному месту, куда стремится ток гуморальной жидкости безбрежного тела мира — росы: Шар владеет языком Великого века. Благодаря личностному поступку, принятию невозможного решения, можно примириться со временем — нашим внутренним врагом; и тогда остановится (замрёт) песок в песочных часах.

От воображаемого до идеала — один шаг. Две последние строки поэмы могут показаться помпезными, самодостаточными или наивными, подобно добродетельным намерениям юных жениха и невесты:

Женщина дышит всей грудью,
Мужчина стоит во весь рост.

Но если обратить внимание на заглавные буквы, если проследить за финальным восхождением с того момента, когда слово «химеры» было уже произнесено, мы догадаемся, что Шар ставит на выходе из своего стихотворного пространства две аллегорические фигуры, две статуи, два идеальных образа — иллюзорных, утешающих, благородных. Это и есть классическое искусство.

Перевод с французского *Арины Кузнецовой*